

6. Официальный национализм и империализм

На протяжении XIX столетия, и особенно во второй его половине, филолого-лексикографическая революция и подъем националистических движений внутри Европы, которые сами по себе были продуктами не только капитализма, но и «слоновая болезнь» династических государств, создавали для династических монархов все больше культурных, а, следовательно, и политических затруднений. Ибо, как мы уже увидели, фундаментальная легитимность большинства этих династий была совершенно не связана с национальностью. Романовы правили татарами и латышами, немцами и армянами, русскими и финнами. Габсбурги возвышались над мадьярами и хорватами, словаками и итальянцами, украинцами и южными немцами. Ганноверы управляли бенгальцами и квебекцами, а также шотландцами и ирландцами, англичанами и валлийцами[224]. Вдобавок к тому, на континенте члены одних и тех же династических семей часто правили в разных, подчас даже враждующих, государствах. Какую национальность приписать Бурбонам, правившим во Франции и Испании, Гогенцоллернам, правившим в Пруссии и Румынии, Виттельсбахам, правившим в Баварии и Греции?

Также мы увидели, что для решения собственно административных задач эти династии с разной скоростью закрепляли за некоторыми печатными языками статус государственных: «выбор» языка в основном определялся неосознаваемым наследованием или соображениями удобства.

Между тем, лексикографическая революция в Европе создавала и постепенно распространяла убеждение в том, что языки (по крайней мере, в Европе) являются, так сказать, личной собственностью вполне конкретных групп — а именно, говорящих и читающих на них в обыденной жизни, — и, более того, что эти группы, представляемые в воображении как сообщества, уполномочены занимать свое автономное место в братстве равных. Таким образом, филологические подстрекатели поставили династических монархов перед неприятной дилеммой, которая со временем только обострилась. Нигде эта дилемма не проявляется так явно, как в случае Австро-Венгрии. Когда в начале 80-х годов XVIII в. просвещенный абсолютист Иосиф II принял решение поменять государственный язык с латинского на немецкий, «он не боролся, например, с мадьярским языком, он боролся с латынью... Он считал, что на основе средневекового латиноязычного дворянского управления невозможно осуществить никаких эффективных действий в интересах масс. Потребность в объединяющем языке, который связал бы воедино все части его империи,

казалась ему не терпящей никаких отлагательств. Учитывая такую потребность, он не мог выбрать никакой другой язык, кроме немецкого — единственного языка, в распоряжении которого была обширная культура и литература и значительное меньшинство во всех провинциях его империи»[225]. В действительности, «Габсбурги не проводили сознательной и последовательной германизации... Некоторые из Габсбургов даже не говорили по-немецки. Даже те из императоров Габсбургской династии, которые иногда поощряли политику германизации, вовсе не руководствовались в своих устремлениях националистической точкой зрения; их меры диктовались намерением достичь единства и универсальности их империи»[226]. Их основной целью было *Hausmacht*. Однако после середины XIX в. немецкий язык стал все отчетливее приобретать двойственный статус: «универсально-имперский» и «партикулярно-национальный». Чем больше династия насаждала немецкий язык в качестве первого по важности, тем более он выделялся соединенным с ее подданными, говорящими на немецком языке, и тем более вызывал антипатию среди остальных. Между тем, если бы она не оказывала такого давления, т. е. фактически пошла бы на уступки другим языкам, прежде всего венгерскому, то это не только задержало бы унификацию империи, но, кроме того, дало бы повод немецкоязычным подданным почувствовать себя оскорбленными. Таким образом, над династией одновременно висела угроза ненависти и за то, что она защищает немцев, и за то, что она их предает. (Так же во многом говорящие по-турецки возненавидели Оттоманов как отступников, а не говорящие по-турецки — как туркизаторов.)

Поскольку к середине века все династические монархи использовали какой-нибудь бытующий на их территории язык как государственный[227], а также в силу быстро растущего по всей Европе престижа национальной идеи, в евро-средиземноморских монархиях наметилась отчетливая тенденция постепенно склоняться к манящей национальной идентификации. Романовы открыли, что они великороссы, Ганноверы — что они англичане, Гогенцоллерны — что они немцы, а их кузены с несколько большими затруднениями превращались в румын, греков и т. д. С одной стороны, эти новые идентификации укрепляли легитимности, которые в эпоху капитализма, скептицизма и науки все менее и менее могли опираться на мнимую священность и одну только древность. С другой стороны, они создавали новые опасности. Когда кайзер Вильгельм II назвал себя «немцем номер один», он неявно признал тем самым, что является одним из многих ему подобных, выполняет представительскую функцию, а, следовательно, может быть в принципе изменником своих собратьев-немцев (в пору расцвета династии это было нечто немыслимое: кому и чему он мог тогда изменить?). После катастрофы, постигшей Германию в 1918 г., его поймали на этом предполагаемом слове. Действуя от имени немецкой нации, гражданские политики (публично) и Генеральный штаб (с обычной для него смелостью, тайно) выслали ему из Отечества в малоизвестный голландский пригород перевязочный материал. Так и Мохаммед Реза Пехлеви, назвав себя не просто шахом, а шахом Ирана, в конце концов был заклеен как предатель. То, что он и сам принял пусть даже не вердикт, а, так сказать, правомочность национального суда, видно из небольшой комедии, разыгранной в момент его отправления в изгнание. Прежде чем взобраться на трап самолета, он поцеловал землю перед фотообъективами и объявил, что забирает небольшую горсть священной иранской земли с собой. Этот эпизод украден из фильма о Гарибальди, а не о Короле-Солнце[228].

«Натурализация» династий Европы — маневры, не обошедшиеся во многих случаях без отвлекающих акробатических трюков, — постепенно привели к возникновению того, что Сетон-Уотсон язвительно называет «официальными национализмами»[229], в числе которых царистская русификация является лишь самым известным примером. Эти «официальные национализмы» лучше всего понятны как средство совмещения натурализации с удержанием династической власти — в частности, над огромными многоязычными владениями, накопившимися со времен Средневековья, — или, иначе говоря, как средство натягивания маленькой, тесной кожи нации на гигантское тело империи. «Русификация» разнородного населения царских владений представляла собой, таким образом, насильственное, сознательное сваривание двух противоположных политических порядков, один из которых был древним, а другой — совершенно новым. (Хотя здесь и просматривается определенная аналогия, скажем, с испанизацией Америк и Филиппин, остается одно основное отличие. Если культурные конкистадоры Российского Царства конца XIX в. руководствовались сознательным макиавеллианским расчетом, то их испанские предшественники из XVI в. действовали исходя из неосознанного повседневного прагматизма. К тому же, для них это была, на самом-то деле, никакая не «испанизация»; скорее, это было просто обращение язычников и дикарей в христианство.)

Ключом к определению места «официального национализма» — волевого соединения нации с династической империей — будет напоминание о том, что он появился после массовых национальных движений, которые с 20-х годов XIX в. множились в Европе, и в ответ на них. Если эти национализмы были смоделированы по образцам, взятым из американской и французской истории, то теперь они, в свою очередь, сами стали образцами[230]. Требовалась лишь изобретательная ловкость рук, чтобы дать империи возможность явить свою привлекательность в национальном наряде.

Чтобы окинуть взглядом весь этот процесс реакционного вторичного моделирования, полезно рассмотреть несколько параллельных случаев, дающих поучительные контрасты.

Насколько неловко чувствовало себя поначалу, «выходя на улицы», романовское самодержавие, отлично показал Сетон-Уотсон[231]. Как ранее уже говорилось, придворным языком Санкт-Петербурга в XVIII в. был французский, а языком значительной части провинциального дворянства — немецкий. После нашествия Наполеона граф Сергей Уваров в докладной записке 1832 г. предложил, чтобы государство держалось на трех основных принципах: Самодержавии, Православии и Народности (национальности)[232]. Если первые два принципа были старые, то третий был совершенно новым — и несколько преждевременным для эпохи, когда половину «нации» все еще составляли крепостные, а более половины говорили на родном языке, который не был русским. Доклад принес Уварову пост министра просвещения, но и больше почти ничего. Еще полвека царизм сопротивлялся уваровским искушениям. Лишь в годы правления Александра III (1881–1894) русификация стала официальной политикой династии: гораздо позже, чем в империи появились украинский, финский, латышский и иные национализмы. Есть доля иронии в том, что первые меры по русификации были предприняты именно в отношении тех «национальностей», которые были наиболее *Keisertreu*[233], в частности, прибалтийских немцев. В 1887 г. в прибалтийских провинциях русский язык был сделан обязательным языком преподавания во всех государственных школах, кроме начальных; позднее эта мера была распространена и

на частные школы. В 1893 г. Дерптский университет, одно из самых передовых учебных заведений на территории империи, был закрыт из-за того, что в лекционных аудиториях продолжал применяться немецкий язык. (Напомним, что немецкий язык был к тому времени провинциальным государственным языком, а не голосом массового националистического движения.) И так далее. Сетон-Уотсон идет еще дальше и высказывает рискованное предположение, что революция 1905 г. была «в такой же степени революцией нерусских против русификации, в какой и революцией рабочих, крестьян и радикальной интеллигенции против самодержавия. Эти два восстания были, разумеется, связаны: наиболее ожесточенно социальная революция протекала именно в нерусских регионах, и главными действующими лицами в ней были польские рабочие, латышские крестьяне и грузинские крестьяне»[234].

В то же время было бы большой ошибкой предполагать, будто русификация, будучи династической политикой, не достигла одной из главных своих целей: закрепления за тронем лидерства в растущем «великорусском» национализме. И дело тут не просто в пристрастиях. В конце концов, перед русскими функционерами и предпринимателями открылись широчайшие возможности в огромной бюрократии и разрастающемся рынке, которые им предоставила империя.

Не менее интересна, чем царь Александр III, русификатор всей Руси, его современница Виктория Саксен-Кобург-Готская, королева Англии и в поздние годы жизни императрица Индии. На самом деле, ее титул даже интереснее, чем ее персона, ибо символически представляет утолщение слоя металлической сварки между нацией и империей[235]. Ее правление также знаменует рождение «официального национализма» в лондонском стиле, сильно смахивающего на проводимую Санкт-Петербургом политику русификации. Чтобы по достоинству оценить это сходство, хорошо подошло бы лонгитюдное сравнение.

В «Распаде Британии» Том Нейрн поднимает вопрос о том, почему в конце XVIII в. не возникло шотландского националистического движения, несмотря на наличие набиравшей силу шотландской буржуазии и выдающейся шотландской интеллигенции[236]. Хобсбаум решительно отверг проницательные размышления Нейрна, заметив: «Было бы чистым анахронизмом ожидать, чтобы [шотландцы] потребовали в это время независимого государства»[237]. Впрочем, если вспомнить, что Бенджамин Франклин, один из подписантов американской Декларации независимости, родился на пять лет раньше Давида Юма, то, возможно, мы склонимся к тому мнению, что суждение самого Хобсбаума несколько анахронично[238]. Мне кажется, что проблемы и их решение следует искать в другом месте. С другой стороны, нельзя не заметить у Нейрна старую добрую националистическую готовность трактовать свою «Шотландию» как непроблематичную, изначальную данность. Блок напоминает о разношерстных предках этой «сданности», отмечая, что опустошительные набеги датчан и Вильгельма Завоевателя навсегда опрокинули культурную гегемонию северной, англосаксонской Нортумбрии, символизируемой такими светилами, как Алкуин и Беда Достопочтенный:

«Часть севера была навеки отделена от собственно Англии. Отрезанные от других населений с англосаксонской речью поселением викингов в Йоркшире низменности, окружавшие нортумбрийскую цитадель в Эдинбурге, оказались под властью кельтских вождей с возвышенностей. Таким образом, двуязычное королевство Шотландия стало, благодаря своеобразному удару с тыла, творением скандинавских вторжений»[239].

Сетон-Уотсон, со своей стороны, пишет, что шотландский язык

“ «...развился из слияния саксонского и французского, хотя доля последнего в нем была меньше, а доля кельтских и скандинавских источников гораздо больше, чем на юге. На этом языке говорили не только на востоке Шотландии, но и в Северной Англии. На шотландском, или „североанглийском“, языке говорили при шотландском дворе; им пользовались как элита общества (которая иногда могла также говорить по-гэльски), так и население Низменностей в целом. Это был язык поэтов Роберта Генрисона и Уильяма Данбара. Он мог бы развиваться как отдельный литературный язык и дожить до настоящего времени, если бы заключенный в 1603 г. союз корон не принес главенство южно-английского языка, распространив его на королевский двор, администрацию и высший класс Шотландии»[240].

Главное тут вот что: уже в начале XVII в. значительные части того, что должно было быть в один прекрасный день вообразено как Шотландия, были англоязычными и, учитывая наличие минимальной степени грамотности, имели непосредственный доступ к печатному английскому языку. Позднее, в начале XVIII в., англоязычные Низменности в сотрудничестве с Лондоном почти окончательно искоренили Gaeltacht. В обоих «бросках на север» не было никакой сознательной политики англиизации: в обоих случаях англиизация была, по существу, побочным продуктом. Однако, скомбинировавшись, они еще «до» наступления эпохи национализма эффективно устранили саму возможность опирающегося на особый родной язык националистического движения в европейском стиле. Но почему бы тогда не в американском стиле? Частично на этот вопрос по ходу дела отвечает Нейрн, говоря о «массовой интеллектуальной миграции» на юг, происходившей начиная с середины XVIII в.[241] Однако интеллектуальной миграцией дело не ограничивалось. Шотландские политики переезжали на юг заниматься законотворчеством, а шотландские бизнесмены открывали доступы к лондонским рынкам. В итоге, в полном отличии от тринадцати колоний (и в меньшей степени от Ирландии), на пути всех этих пилигримов к центру не были нагромождены баррикады. (Сравните с широкой дорогой в Вену, открывшейся в XVIII в. перед венграми, умевшими читать на латыни и на немецком.) Английскому языку еще только предстояло стать «английским».

К тому же можно подойти и иначе, рассмотрев вопрос под другим углом зрения. В XVII в. Лондон фактически возобновил присвоение заморских территорий, приостановленное после катастрофического окончания столетней войны. Однако «дух» этих завоеваний все еще оставался в своей основе духом донациональной эпохи. И ничто так поразительно это не подтверждает, как то, что «Индия» стала «Британской» лишь через двадцать лет после восшествия на престол королевы Виктории. Иначе говоря, до подавления восстания сипаев в 1857 г. «Индией» управляло коммерческое предприятие — не государство, и уж совершенно точно не национальное государство.

Однако изменение уже близилось. Когда в 1813 г. была представлена на возобновление в парламент хартия Ост-Индской компании, он обязал ее направлять по 100 000 рупий в год на поддержку туземного образования: как «восточного», так и «западного». В 1823 г. была учреждена Комиссия по общественному образованию в Бенгалии; а в 1834 г. президентом этой комиссии стал Томас Бэбингтон Маколей. Заявив, что «одна полка добротной европейской библиотеки стоит всей туземной литературы Индии и Аравии»[242], он написал в следующем году свою знаменитую «Записку об образовании». В отличие от уваровских, его рекомендации достигли большего успеха и нашли немедленное практическое применение. Должна была быть введена специфически английская система образования, призванная, по неподражаемым словам самого Маколей, создать «особый класс людей — индийцев по крови и цвету, но англичан по вкусу, мнению, морали и интеллекту»[243]. В 1836 г. он писал:

“ «Ни один индеец, получив английское образование, не остается всей душой привязан к своей религии... Мое твердое убеждение [а таковым оно было всегда] состоит в том, что если последовать нашим планам образования, то уже через тридцать лет в респектабельных классах Бенгалии не останется ни одного идолопоклонника»[244].

Есть здесь, конечно, и некоторый наивный оптимизм, заставляющий нас вспомнить о Фермине, жившем полстолетия раньше в Боготе. Важно, однако, что тут мы имеем дело с долгосрочной (рассчитанной на 30 лет!) сознательно сформулированной и проводимой политикой, нацеленной на превращение «идолопоклонников» не столько даже в христиан, сколько англичан по культуре несмотря на их непоправимые цвет и кровь. Задумано своего рода духовное смешение рас, которое, при сравнении с ферминовским физическим, показывает, что империализм, как и многое другое в викторианскую эпоху, достиг необычайного прогресса в утонченности. Во всяком случае, можно с уверенностью сказать, что отныне во всех уголках разраставшейся империи проводилась, хотя и с разной скоростью, политика маколеизма[245].

Как и русификация, англизация, естественно, тоже открывала радужные перспективы перед целыми армиями жителей метрополии, принадлежавших к среднему классу (в том числе не в последнюю очередь перед шотландцами!) — функционерами, школьными наставниками, торговцами и плантаторами, — которые быстро развернулись на просторах необъятной, постоянно освещаемой солнцем империи. И все-таки было между империями,

управляемыми из Санкт-Петербурга и Лондона, одно основополагающее отличие. Царство оставалось «сплошным» континентальным владением, находящимся в границах умеренных и арктических зон Евразии. Из одного конца в другой можно было, так сказать, добраться пешком. Языковое родство со славянским населением Восточной Европы и — как бы помягче выразиться? — исторические, политические, религиозные и экономические связи со многими неславянскими народами означали, что, в сравнительном плане, барьеры на пути в Санкт-Петербург не были непроницаемы[246]. Британская империя, в свою очередь, была скоплением преимущественно тропических владений, разбросанных по всем континентам. Лишь меньшинство подчиненных ей народов имело длительные религиозные, языковые, культурные или даже политические и экономические связи с метрополией. Сопоставляемые друг с другом в Юбилейный год, они напоминали те как попало подобранные коллекции полотен старых мастеров, второпях собираемые английскими и американскими миллионерами, которые в конце концов превращаются в официозно-имперские государственные музеи.

Хорошей иллюстрацией последствий являются горестные воспоминания Бипина Чандра Пала, который в 1932 г., спустя столетие после маколеевской «Записки», все еще был переполнен гневом, когда писал, что индийские магистраты

“ «не только проходили жесточайшую проверку наравне с британскими членами этой службы, но и проводили лучшие годы своей юности в Англии. По возвращении на родину они вели практически такой же образ жизни, что и их сослуживцы, и с почти религиозным рвением соблюдали светские условности и этические стандарты последних. В те дни рожденный в Индии гражданский служащий [sic — сравните с нашими испано-американскими креолами] практически отрезал себя от своего родительского общества, живя, двигаясь и вообще существуя в атмосфере, столь дорогой его коллегам-британцам. По уму и манерам он был таким же англичанином, как и любой англичанин. Это было с его стороны немалой жертвой, ибо таким образом он полностью отчуждался от общества своего народа и социально и морально становился в нем парией... Он был таким же чужим на родной земле, как и поселившиеся в стране европейцы»[247].

Пожалуй, довольно о Маколее. Гораздо серьезнее было то, что такие чужаки в родной стране были, вдобавок к тому, еще и обречены — не менее фатально, чем американские креолы — находиться в «иррациональном» постоянном подчинении у английских матурранго. И дело не просто в том, что Палу, сколь бы он ни был англиизирован, были навсегда заказаны высшие посты в его стране. Для него было закрыто и движение за пределы ее периметра: как горизонтальное (скажем, на Золотой Берег или в Гонконг), так и вертикальное (в метрополию). Он мог быть «полностью отчужден от общества своего народа», но при этом был приговорен пожизненно нести службу среди этих людей. (Конкретный состав «этих людей», разумеется, менялся по мере пространственного расширения британских владений на субконтиненте[248].)

Позднее мы еще обратимся к тому, как повлияли официальные национализмы на подъем азиатских и африканских национализмов XX в. Здесь для наших целей необходимо лишь подчеркнуть, что англизация производила тысячи и тысячи Палов по всему миру. Это как ничто другое подчеркивает фундаментальное противоречие английского официального национализма, а именно, внутреннюю несовместимость империи и нации. Я намеренно говорю «нации», потому что всегда есть соблазн объяснить этих Палов в терминах расизма. Никто в здравом уме не решился бы отрицать глубоко расистский характер английского империализма XIX в. Но ведь существовали свои Палы и в белых колониях: Австралии, Новой Зеландии, Канаде и Южной Африке. Там тоже были толпы английских и шотландских школьных наставников; англизация была также и культурной политикой. Как и перед Палом, перед ними был закрыт тот петляющий путь наверх, который был еще открыт в XVIII в. перед шотландцами. Англизированные австралийцы не служили ни в Дублине, ни в Манчестере, ни даже в Оттаве или Кейптауне. Еще очень долго они не могли стать и генерал-губернаторами в Канберре[249]. Таковыми могли быть только «английские англичане», т. е. члены пока еще наполовину скрытой английской нации.

За три года до того, как Ост-Индская компания утратила свои индийские охотничьи угодья, коммодор Перри, прибыв со своими черными кораблями, окончательно снес стены, на протяжении долгого времени державшие Японию в ее добровольно изоляции. После 1854 г. самоуверенность и внутренняя легитимность Бакуфу (режима сёгуната Токугава) были быстро подорваны его очевидным бессилием перед проникновением Запада. Самураи среднего ранга, прежде всего из княжеств [хан] Сацума и Тёсю, объединившиеся в небольшой отряд под лозунгом «сонно дзёи» («почитание суверена, изгнание варваров»), в 1868 г. в конце концов свергли этот режим. Среди причин их успеха было исключительно творческое усвоение — особенно начиная с 1860 г. — новой западной военной науки, систематизированной после 1815 г. прусскими и французскими штабными профессионалами. Благодаря этому им удалось эффективно использовать 7300 ультрасовременных ружей (по большей части сохранившихся еще со времен американской гражданской войны), которые они приобрели у одного английского торговца оружием[250]. «В применении ружей... люди Тёсю достигли такого мастерства, что старые леденящие кровь методы сечи и резни были против них совершенно бесполезны»[251].

Однако, едва оказавшись у власти, повстанцы, которых мы помним сегодня как олигархов Мэйдзи, обнаружили, что их воинская доблесть еще не гарантировала автоматически политической легитимности. Если тэнно («императора») со свержением режима Бакуфу еще можно было быстро восстановить, то изгнать варваров было не так-то просто[252]. Геополитическая безопасность Японии оставалась такой же хрупкой, как и до 1868 г. Одним из основных средств, принятых для консолидации внутривнутриполитической позиции олигархии, стал, таким образом, вариант «официального национализма» середины века, вполне сознательно скопированный по образцу Пруссии-Германии Гогенцоллернов. В 1868–1871 гг. все остатки местных «феодалных» военных отрядов были распущены, и Токио получил централизованную монополию на применение средств насилия. В 1872 г. имперским Эдиктом было предписано введение всеобщей грамотности среди взрослого мужского населения. В 1873 г. Япония, задолго до Соединенного Королевства, ввела всеобщую воинскую повинность. Одновременно режим упразднил самурайское сословие как законодательно определенный и привилегированный класс, что стало важным шагом не

только в (постепенном) предоставлении всем дарованиям возможности служить в офицерском корпусе, но и попыткой вписаться в «доступную» теперь модель «нации граждан». Японское крестьянство было освобождено от подчинения феодальной системе княжеств и с этого времени стало напрямую эксплуатироваться государством и торгово-аграрными землевладельцами[253]. В 1889 г. последовало принятие конституции на прусский манер, а со временем было введено всеобщее избирательное право для мужчин.

В проведении этой организованной кампании сторонникам Мэйдзи помогали три полуслучайных удачных фактора. Первым была относительно высокая этнокультурная гомогенность японцев, ставшая результатом политики изоляции и внутреннего усмирения, проводимой на протяжении двух с половиной веков режимом Бакуфу. Хотя японский язык, на котором говорили на Кюсю, был почти совсем непонятен на Хонсю, и вербальная коммуникация оказывалась проблематичной даже для Эдо-Токио и Киото-Осаки, на всех островах долгое время существовала полукитаизированная идеографическая система чтения, благодаря которой развитие массовой грамотности через школы и печать протекало легко и без сопротивления. Во-вторых, уникальная древность императорского дома (Япония — единственная страна, где монархия на протяжении всей ее письменной задокументированной истории была монополизирована одной династией) и его символическая японскость (сравните с Бурбонами и Габсбургами) существенно упрощали использование Императора в официально-националистических целях[254]. В-третьих, проникновение варваров было внезапным, массивным и достаточно угрожающим для большинства элементов политически-сознательного населения, благодаря чему они могли сплотиться вокруг программы самозащиты, понятой в новых национальных категориях. Стоит подчеркнуть, что эта возможность напрямую связана со временем западного проникновения, а именно: 60-ми годами XIX в., в противоположность 60-м годам XVIII в. Ибо к этому времени в большей части Европы вот уже на протяжении полувека вступало в свои права «национальное сообщество» как в популярной, так и в официальной его версии. В результате, самозащита могла быть смоделирована в согласии и соответствии с тем, чему суждено было стать позднее «международными нормами».

То, что эта рискованная игра себя окупала, несмотря на ужасающие страдания, причиненные крестьянству безжалостными фискальными поборами, необходимыми для оплаты военизированной программы индустриализации, несомненно, в какой-то степени было обусловлено однобокой ориентацией самих олигархов. Удачно придя к власти в эпоху, когда номерные счета в Цюрихе были в далеком будущем, которое даже во сне не могло пригрезиться, они были избавлены от искушения выводить извлекаемую прибыль за пределы Японии. Они, коим посчастливилось править в эпоху, когда военная технология развивалась еще относительно неспешно, имели возможность с помощью своей запоздалой программы вооружения превратить Японию к концу века в самостоятельную военную державу. Впечатляющие успехи, достигнутые японской армией, набранной на основе воинской повинности, в вооруженных действиях против Китая (1894–1895) и военно-морским флотом Японии в войне с Россией (1905), а также аннексия Тайваня (1895) и Кореи (1910), сознательно пропагандируемые через школы и печать, были крайне полезны для создания общего впечатления, что консервативная олигархия является аутентичным представителем нации, членами которой японцы в своем воображении все более начинали себя мыслить.

То, что этот национализм принял агрессивный империалистический характер даже вне правящих кругов Японии, лучше всего объяснить двумя факторами: наследием ее продолжительной изоляции и могуществом официально-национальной модели. Маруяма пронизательно замечает, что в Европе все национализмы выросли в контексте традиционного плюрализма взаимодействующих династических государств — или, как я сформулировал то же самое выше, европейская универсальность латыни никогда не имела политического коррелята:

“ «Национальное сознание в Европе, следовательно, с самого своего зарождения несло на себе печать осознания международного общества. Само собой предполагалось, что споры между суверенными государствами суть конфликты между независимыми членами этого международного общества. По этой самой причине война со времен Гроция занимала важное и систематическое место в международном праве»[255].

Многовековая изоляция Японии, в свою очередь, предполагала, что здесь

“ «осознание равноправия в международных делах полностью отсутствовало. Сторонники изгнания [варваров] смотрели на международные отношения со своих позиций в национальной иерархии, основанной на превосходстве вышестоящих над нижестоящими. А потому, когда исходные посылки национальной иерархии были горизонтально перенесены в международную сферу, международные проблемы оказались сведены к одной-единственной альтернативе: покорять или быть покоренными. В отсутствие каких-либо высших нормативных стандартов, с которыми можно бы было соотнести международные отношения, политика силы неизбежно становится правилом, и вчерашняя осторожная оборонительность оборачивается сегодняшним неограниченным экспансионизмом»[256].

Во-вторых, основными моделями для японской олигархии были самонатурализирующиеся династии Европы. Учитывая, что эти династии все больше и больше определяли себя в национальных категориях, расширяя в то же время свою власть за пределами Европы, неудивительно, что эта модель должна была быть воспринята в имперском духе[257]. Как показал раздел Африки на Берлинской конференции (1885), великими нациями были всемирные завоеватели. Но тогда вполне правдоподобно, что и Японии для того, чтобы ее признали «великой», надо было превратить тэнно в Императора и пуститься в заморские авантюры, пусть даже она вступила в игру слишком поздно и ей еще предстояло многое наверстать. Мало что позволяет острее ощутить, как отразились эти остатки на сознании читающего населения, чем следующая формулировка радикал-националистического идеолога и революционера Кита Икки (1884–1937), содержащаяся в его влиятельной работе «Нихон кайдзо хоан тайко» [Очерк о реконструкции Японии], опубликованной в 1924 г.:

«Как классовая борьба внутри нации ведется ради исправления неравенства, так и война между нациями за правое дело призвана исправить существующие несправедливые различия. Британская империя — миллионер, владеющий богатствами по всему миру; Россия — великий землевладелец, занимающий северную половину земного шара. Япония с ее разбросанной на окраине [sic] группой островов — страна пролетариата, и она имеет право объявить войну крупным монопольным державам. Социалисты Запада противоречат самим себе, когда признают право пролетариата на классовую борьбу у себя дома и в то же время осуждают войну, ведущуюся пролетариатом между нациями, как милитаризм и агрессию... Если допустимо, чтобы рабочий класс объединился ради свержения несправедливой власти посредством кровопролития, то следует выразить безусловное одобрение и тому, чтобы Япония усовершенствовала свою армию и флот и вступила в войну за исправление несправедливых международных границ. От имени разумной социал-демократии Япония предъявляет свои претензии на Австралию и Восточную Сибирь»[258].

Остается только добавить, что в процессе расширения империи после 1900 г. японизация в духе Маколея стала сознательно проводимой государственной политикой. В период между двумя мировыми войнами в отношении корейцев, тайваньцев и маньчжуров, а с началом войны на Тихом океане в отношении бирманцев, индонезийцев и филиппинцев осуществлялась политика, для которой европейская модель была уже установившейся рабочей практикой. И так же, как это было в Британской империи, японизированным корейцам, тайваньцам или бирманцам были полностью перекрыты пути в метрополию. Они могли в совершенстве говорить и читать по-японски, но ни при каких обстоятельствах не могли встать во главе префектуры на острове Хонсю и даже получить пост за пределами тех зон, в которых они родились.

Теперь, когда мы рассмотрели три разных случая «официального национализма», важно подчеркнуть, что на эту модель могли сознательно ориентироваться государства, не имевшие серьезных великодержавных претензий, до тех пор, пока оставались такими государствами, где правящие классы или лидирующие элементы чувствовали, что всемирное расползание национально-воображенных сообществ ставит их под угрозу. Вероятно, полезно будет сравнить два таких государства: Сиам и Венгрию-в-составе-Австро-Венгрии.

Чулалонгкорн, современник Мэйдзи, правивший на протяжении долгого времени (1868–1910), избрал для защиты своего королевства от западного экспансионизма стиль, заметно отличавшийся от стиля его японского «коллеги»[259]. Зажатый между британскими Бирмой и Малайей и французским Индокитаем, он вместо того, чтобы попытаться создать

серьезную военную машину, посвятил себя тонкой манипулятивной дипломатии. (Военное министерство было создано лишь в 1894 г.) Навевая воспоминания о Европе XVIII в., его вооруженные силы в основном представляли собой разношерстные вооруженные отряды, состоявшие из вьетнамских, кхмерских, лаосских, малайских и китайских наемников и подданных. Почти ничего не делалось и для насаждения официального национализма через модернизированную систему образования. Фактически, обязательное начальное образование было введено лишь через десять с лишним лет после его кончины, а первый в стране университет был учрежден лишь в 1917 г., на сорок лет позже основания Императорского университета в Токио. Несмотря на все это, Чулалонгкорн считал себя модернизатором. Однако основными образцами для него были не Соединенное Королевство и не Германия, а колониальные *beamtenstaaten* голландской Ост-Индии, британская Малайя и Радж[260]. Следование этим моделям предполагало рационализацию и централизацию королевского правительственного аппарата, упразднение традиционных полуавтономных государств-сателлитов и оказание содействия экономическому развитию более или менее в русле колониальных принципов. Самым поразительным примером этого — примером, странным образом предвосхитившим сегодняшнюю Саудовскую Аравию, — было активное поощрение им массовой иммиграции молодых одиноких иностранцев мужского пола с целью формирования дезориентированной, политически бесправной рабочей силы, необходимой для строительства портовых сооружений, железных дорог, рытья каналов и расширения коммерческого сельского хозяйства. Импорт гастарбайтеров совпадал с политикой, проводимой властями Батавии и Сингапура, и фактически был смоделирован по ее образцу. И так же, как в случае нидерландской Ост-Индии и британской Малайи, огромная масса рабочих, импортируемых в XIX в., была из Юго-Восточного Китая. Поучительно, что Чулалонгкорну эта политика не принесла ни личных волнений, ни политических затруднений — так же, как и тем колониальным правителям, которым он подражал. По сути, эта политика дала династическому государству недолгое ощущение благополучия, поскольку создала бессильный рабочий класс «вне» тайского общества, оставив само это общество в значительной степени «незатронутым».

«Собирать осколки разбитой посуды» пришлось его сыну и наследнику Вачиравату (правившему в 1910–1925 гг.), взявшему на этот раз за образец самонатурализирующихся монархов Европы. Несмотря на то — и благодаря тому, — что он получил образование в поздневикторианской Англии, он стал играть роль «первого националиста» своей страны[261]. Объектом неприязни для этого национализма стало, между тем, не Соединенное Королевство, державшее под контролем 90 процентов сиамской торговли, и не Франция, незадолго до этого покинувшая Сиам, оставив за собой лишь расположенные к востоку от него сегменты старой империи: им стали китайцы, которых еще совсем недавно беспечно импортировал в страну его отец. О стиле его антикитайской позиции говорят заглавия двух самых известных его памфлетов: «Евреи Востока» (1914) и «Палки в наших колесах» (1915).

Отчего произошло это изменение? Во-первых, свою роль, несомненно, сыграли драматические события, непосредственно предшествовавшие его коронации в ноябре 1910 г. и последовавшие за ней. В июне этого года пришлось прибегнуть к силам полиции для подавления всеобщей забастовки китайских торговцев (детей первых иммигрантов, устремленных вверх по социальной лестнице) и рабочих Бангкока, ознаменовавшей их

посвящение в сиамскую политику[262]. А в следующем году разношерстным набором групп, среди которых присутствовали и торговцы, была сметена Небесная монархия в Пекине. Таким образом, «китайцы» явились предвестниками популярного республиканства, всерьез угрожавшего династическому принципу. Во-вторых, как показывают слова «евреи» и «Восток», этот англизированный монарх перенял особые расизмы английского правящего класса. Однако, вдобавок к тому, Вачиравут был фактически и своего рода азиатским Бурбоном. В донациональную эпоху его предки охотно брали в жены и наложницы привлекательных китайских девушек, вследствие чего в его жилах, говоря языком Менделя, текло больше китайской «крови», чем тайской[263].

Здесь мы имеем прекрасную иллюстрацию природы официального национализма: упреждающей стратегии, принимаемой господствующими группами, когда над ними нависает угроза маргинализации или исключения из возникающего национально-воображенного сообщества. (Не стоит и говорить, что Вачиравут привел в движение все политические рычаги официального национализма: обязательное начальное образование под опекой государства, государственную пропаганду, официальное переписывание истории, милитаризм — тут это было скорее показательное шоу, чем что-то реальное, — и бесконечную череду подтверждений идентичности династии и нации[264]).

Развитие венгерского национализма в XIX в. показывает отпечаток «официальной» модели иным образом. Ранее мы уже говорили о том, каким яростным сопротивлением встретило латиноязычное мадьярское дворянство предпринятую Иосифом II в 80-е годы XVIII в. попытку сделать немецкий язык единственным государственным языком империи. Более обеспеченные сегменты этого класса боялись в условиях централизованного, отлаженного управления под началом имперско-немецких бюрократов потерять свои синекуры. Низшие эшелоны панически боялись того, что могут потерять освобождение от налогов и обязательной службы в армии, а также контроль над крепостными крестьянами и сельскими поместьями. Однако, наряду с защитой латыни, раздавались голоса, надо сказать, весьма оппортунистические, в защиту мадьярского языка, «ибо в долгосрочной перспективе мадьярская администрация казалась единственной работоспособной альтернативой немецкой»[265]. Бела Грюнвальд по этому поводу ехидно заметил, что «те же самые графства, которые (выступая против указа императора) подчеркивали возможность делопроизводства на мадьярском языке, в 1811 г. — т. е. спустя двадцать семь лет — уже уверяли в невозможности этого». Еще два десятилетия спустя в одном весьма «националистически» настроенном венгерском графстве говорили, что «введение мадьярского языка поставило бы под угрозу нашу конституцию и все наши интересы»[266]. Мадьярское дворянство — класс, насчитывавший примерно 136 тыс. душ, монополизировавших землю и политические права в стране с населением около 11 млн. человек[267], — стало по-настоящему мадьяризироваться только в 40-е годы XIX в., да и то лишь ради того, чтобы не оказаться на обочине истории.

В то же время постепенный рост грамотности (к 1869 г. грамоте была обучена треть взрослого населения), распространение печатного мадьярского языка и рост небольшой, но

очень энергичной либеральной интеллигенции, стимулировали развитие массового венгерского национализма, понимаемого совершенно иначе, чем национализм дворянства. Этот народный национализм, символом которого стала для последующих поколений фигура Лайоша Кошута (1802–1894), достиг своего апогея в революции 1848 г. Революционный режим не только избавился от назначаемых Веней имперских губернаторов, но также распустил якобы исконно-мадьярское Собрание Благородных Помещиков и провозгласил реформы, призванные положить конец крепостничеству и освобождению дворян от уплаты налогов, а также решительно обуздать передачу по наследству родовых имений. Кроме того, было решено, что все говорящие по-венгерски должны быть венграми (ибо раньше ими были только привилегированные), а каждый венгр должен говорить по-мадьярски (ибо до тех пор это было в обычае лишь у некоторых мадьяров). Как сухо замечает по этому поводу Игнотус, «нация», по стандартам той эпохи (наблюдавшей с безграничным оптимизмом восхождение звезд Либерализма и Национализма), имела все основания чувствовать себя крайне великодушной, «приняв в свой состав мадьярского крестьянина без всякой дискриминации, за исключением имущественной[268], христиан-немадьяров при условии, что они отныне станут мадьярами, и наконец, с некоторой неохотой и двадцатилетним опозданием, евреев»[269]. Собственная позиция Кошута, занятая им в его безрезультатных переговорах с лидерами различных немадьярских меньшинств, состояла в том, что эти народы должны иметь такие же гражданские права, как и мадьяры, но, ввиду отсутствия в них «исторических личностей», не могут образовать свои собственные нации. С высоты сегодняшнего дня эта позиция может показаться немного высокомерной. Но она предстанет в более выгодном свете, если вспомнить, что выдающийся молодой поэт и радикал-националист Шандор Петефи (1823–1849), главный вдохновитель революции 1848 г., однажды отозвался о меньшинствах как о «язвах на теле родины»[270].

После подавления революционного режима в августе 1849 г. царскими войсками Кошут отправился в пожизненное изгнание. Теперь была расчищена площадка для возрождения «официального» мадьярского национализма, олицетворением которого служат реакционные режимы графа Кальмана Тисы (1875–1890) и его сына Иштвана (1903–1906). Причины этого возрождения говорят о многом. В 1850-е годы авторитарно-бюрократическая администрация Баха в Вене сочетала суровые политические репрессии с решительным осуществлением ряда социальных и экономических мер, провозглашенных в 1848 г. революционерами (прежде всего таких, как отмена крепостного права и освобождение дворянства от уплаты налогов), а также содействовала развитию современных коммуникаций и крупных капиталистических предприятий[271]. Лишенное в значительной степени своих феодальных привилегий и бывшего надежного положения, неспособное экономически конкурировать с крупными землевладельцами и активными немецкими и еврейскими предпринимателями, прежнее средне- и мелкопоместное мадьярское дворянство пришло в упадок и выродилось в класс сердитых и напуганных сельских помещиков.

Удача, между тем, оказалась на их стороне. Потерпев в 1866 г. позорное поражение от прусских войск в Кёниггрецком сражении, Вена в Ausgleich (Компромиссе) 1867 г. была вынуждена пойти на учреждение Двойственной монархии. С тех пор Королевство Венгрия стало пользоваться существенной автономией в управлении своими внутренними делами. Первыми, кто выиграл от Ausgleich, были либерально настроенные представители высшей

мадьярской аристократии и образованные профессионалы. В 1868 г. администрация просвещенного магната графа Дьюлы Андраши ввела в действие Закон о национальностях, давший немадьярским меньшинствам «все права, на которые они когда-либо претендовали или могли претендовать — за исключением превращения Венгрии в федерацию»[272]. Однако в 1875 г., с приходом Тисы на пост премьер-министра, началась эпоха, когда реакционное мелкопоместное дворянство в условиях относительной свободы от венского вмешательства успешно вернуло свои утраченные позиции.

В экономической области режим Тисы предоставил полную свободу действий крупным аграрным магнатам[273], но политическая власть по существу была монополизирована мелкопоместным дворянством. Ибо:

“ «для ущемленных в правах собственности осталась одна-единственная ниша: административная паутина национальных и местных органов управления и армия. Чтобы укомплектовать их кадрами, Венгрия нуждалась в колоссальном штате людей; но если даже и не нуждалась, то могла, по крайней мере, делать вид, что нуждается. Половину страны составляли „национальности“, которые нужно было держать под контролем. Приводились доводы, что, дескать, финансирование огромной армии надежных, мадьярских, благовоспитанных провинциальных магистратов ради сохранения контроля над ними — скромная плата за соблюдение национального интереса. Проблема многонациональности была ниспослана Богом; и это извиняло умножение числа синекур».

Стало быть, «магнаты владели наследственными поместьями; мелкопоместное дворянство владело наследственными должностями»[274]. Таковы были социальные основы той безжалостной политики насильственной мадьяризации, которая после 1875 г. превратила Закон о национальностях в мертвую букву. Правовое ограничение избирательного права, рост числа «гнилых местечек», фальсификация выборов и организация политических убийств в сельских районах[275] консолидировали власть Тисы и его избирателей, но одновременно и подчеркивали «официальный» характер их национализма.

Яси справедливо сравнивает эту мадьяризацию конца XIX в. с «политикой русского царизма в отношении поляков, финнов и русинов[276], политикой Пруссии в отношении поляков и датчан и политикой феодальной Англии в отношении ирландцев»[277]. Соединение реакции и официального национализма ярко иллюстрируют следующие факты: в то время как главным элементом политики режима была языковая мадьяризация, к концу 80-х годов прошлого века румынами были всего 2 % чиновников в наиболее важных подразделениях центральных и местных органов власти, несмотря на то, что румыны составляли 20 % населения, «да и эти 2 % состояли на низших должностях»[278]. С другой стороны, до начала первой мировой войны в венгерском парламенте не было «ни одного представителя рабочих классов и безземельного крестьянства (подавляющего большинства населения страны)... а среди 413 членов парламента было всего 8 румын и словаков — и это в стране, где только 54 % жителей говорили на мадьярском как на своем родном языке»[279]. В свете

этого нас почти не удивляет, что когда в 1906 г. Вена ввела войска, чтобы разогнать этот парламент, «не было ни одного массового митинга, ни одного плаката, ни одного массового воззвания против новой эры „венского абсолютизма“. Напротив, рабочие массы и национальности взирали на беспомощные потуги национальной олигархии со злорадным восторгом»[280].

Триумфальную победу, одержанную после 1875 г. «официальным национализмом» реакционного мадьярского мелкопоместного дворянства, нельзя, однако, объяснить одной только политической силой этой группы или той свободой маневра, которую она унаследовала от Ausgleich. Дело в том, что до 1906 г. двор Габсбургов был просто не в состоянии решительно выступить против режима, остававшегося во многих отношениях опорой империи. Прежде всего, династия была неспособна навязать свой собственный энергичный официальный национализм. И не только потому, что, по словам выдающегося социалиста Виктора Адлера, этот режим был «Absolutismus gemildert durch Schlamperei [абсолютизм, умеренным расхлябанностью]»[281]. Эта династия едва ли не дольше, чем где бы то ни было, продолжала цепляться за оставшиеся в прошлом понятия. «В своем религиозном мистицизме каждый из Габсбургов ощущал себя исполнителем божественной воли, связанным особыми узами с божеством. Этим как раз и объясняются их граничащая с беспринципностью позиция посреди исторических катастроф и вошедшая в поговорку неблагодарность. Получило широкое хождение выражение: Der Dank vom Hause Habsburg»[282]. Еще, вдобавок к тому, была мучительная ревность к гогенцоллерновской Пруссии, которая все дальше удирала с похищенной табличкой «Священная Римская империя» и превращала себя в Германию; и эта ревность заставляла династию настаивать на надменном «патриотизме во имя меня» Франца II.

В то же время любопытно, что в последние дни своего существования династия, возможно, сама немало тому изумившись, открыла духовное родство с собственными социал-демократами, притом настолько тесное, что некоторые их общие враги стали ехидно поговаривать о «Burgsozialismus [придворном социализме]». В этой временной коалиции с каждой стороны, несомненно, присутствовала смесь макиавеллианского расчета и идеализма. Можно увидеть эту смесь в яростной кампании, которую подняли в 1905 г. австрийские социал-демократы против экономического и военного «сепаратизма», насаждаемого режимом графа Иштвана Тисы. Например, Карл Реннер «подверг суровой критике трусость австрийской буржуазии, которая втихомолку начала соглашаться с сепаратистскими планами мадьяров, в то время как „венгерский рынок для австрийского капитала неизмеримо важнее, чем для немецкого — марокканский“, который внешняя политика Германии так энергично защищает. В выдвигаемом требовании независимой венгерской таможенной территории он видел не что иное, как выкрики городских акул, мошенников и политических демагогов, идущие вразрез с подлинными интересами австрийской промышленности, австрийских рабочих классов и венгерского крестьянского населения»[283]. Аналогичным образом, Отто Бауэр писал:

“ «Конечно, в эпоху русской революции [1905 г.] никто не дерзнет покорить раздираемую классовыми и национальными противоречиями страну

[Венгрию] грубой военной силой. Но внутренние противоречия страны представляют короне другие средства, которыми она должна будет воспользоваться во избежание судьбы династии Бернадотт. Она не может быть органом двух волей и все же хочет господствовать и над Австрией, и над Венгрией. Так вот, ей придется позаботиться, чтобы Венгрия и Австрия образовали одну общую волю, одну империю [Reich]. И для выполнения этой задачи внутренние противоречия Венгрии дают ей необходимые средства. Она пошлет свою армию в Венгрию для вторичного завоевания, но на знаменах этой армии она напишет: нефальсифицированное, всеобщее и равное избирательное право! Свобода коалиций для сельских рабочих! Национальная автономия! Идея самостоятельного венгерского национального государства [Nationalstaat] она противопоставит идею Соединенных штатов Великоавстрии [sic], идею союзного государства [Bundesstaat], в котором каждая нация самостоятельно заведует своими национальными делами и все нации объединяются для охраны своих общих интересов. Идея союзного государства национальностей [Nationalitätenbundesstaat] необходимо, неизбежно становится орудием короны [sic! — Werkzeug der Krone], владычество которой разрушается падением дуализма»[284].

Видимо, резонно будет усмотреть в этих Соединенных штатах Великоавстрии (СШВА) «остатки» США и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (в котором в один прекрасный день должна будет прийти к власти Лейбористская партия), а также предзнаменование Союза Советских Социалистических Республик, протяженность которого странным образом навеивает воспоминания о царской империи. Дело в том, что разуму, их вообразившему, эти СШВА казались непременным наследником конкретного династического владения (Великой Австрии) — с теми же самыми, но уже натурализованными составными частями, которые сложились в результате многовековых «мелких приобретений» Габсбургской династии.

Такие «имперские» продукты воображения были в какой-то степени неудачей социализма, родившегося в столице одной из великих династических империй Европы[285]. Как мы уже отмечали, новые воображаемые сообщества (включая мертворожденные, но все еще воображаемые СШВА), рождаемые в воображении лексикографией и печатным капитализмом, всегда так или иначе считали себя древними. В эпоху, когда еще сама «история» воспринималась многими в терминах «великих событий» и «великих вождей» как своего рода жемчужин, нанизанных на нить повествования, было явно соблазнительно вычитывать прошлое сообщества в древних династиях. Отсюда и СШВА, в которых тонкая перегородка, отделяющая империю от нации, а корону от пролетариата, почти прозрачна. И тут Бауэр ничем не выделялся среди других. Вильгельм Завоеватель и Георг I, оба даже не говорившие по-английски, продолжают непроблематично казаться бусинками, вплетенными в ожерелье «короли Англии». А «святой» Иштван (правивший в 1001–1038 гг.) мог давать своему наследнику следующие наставления:

«Польза от иностранцев и гостей столь велика, что им можно отдать в окружении короля шестое по значимости место... Ибо гости, прибывая из разных регионов и областей, привозят с собою разные языки и обычаи, разные знания и виды оружия. Все это служит украшением королевского двора, повышает его великолепие и умеряет высокомерие иностранных держав. Ибо страна, единая в языке и обычаях, непрочна и слаба...»[286]

Такие слова, по крайней мере, нисколько не помешали обожествить его впоследствии как «Первого Короля Венгрии».

Итак, здесь доказывалось, что примерно с середины XIX в. в Европе началось становление того, что Сетон-Уотсон называет «официальными национализмами». До того, как появились массовые языковые национализмы, эти национализмы были исторически «невозможны», так как в основе своей они были реакциями властвующих групп — прежде всего династических и аристократических, хотя и не только, — которым угрожало исключение из массовых воображаемых сообществ или внутренняя маргинализация в этих сообществах. Начиналось своего рода тектоническое смещение пластов, которое после 1918 и 1945 гг. опрокинуло эти группы в канализационные стоки Эштурила и Монте-Карло. Такие официальные национализмы были консервативной, если не сказать реакционной политикой, взятой в адаптированном виде из модели преимущественно спонтанных массовых национализмов, которые им предшествовали[287]. И, в конечном счете, она не ограничилась Европой и Левантом. От имени империализма очень похожая политика проводилась такими же по типу группами на огромных азиатских и африканских территориях, находившихся в течение XIX в. в порабощении[288]. В конце концов, войдя в специфически преломленном виде в неевропейские культуры и истории, она была воспринята и симитирована коренными правящими группами в тех немногочисленных зонах (в том числе Японии и Сиаме), которые избежали прямого порабощения.

В едва ли не каждом случае официальный национализм скрывал в себе расхождение между нацией и династическим государством. Отсюда распространившееся по всему миру противоречие: словаки должны были быть мадьяризированы, индийцы — англизированы, корейцы — японизированы, но им не позволялось присоединиться к тем путешествиям, которые дали бы им возможность управлять мадьярами, англичанами или японцами. Банкет, на который их приглашали, неизменно превращался в Бармецидов пир. Причиной тому был не только расизм, но и то, что в самом сердце империй тоже рождались нации: венгерская, английская и японская. И эти нации тоже инстинктивно сопротивлялись «чужому» правлению. А стало быть, в эпоху, наступившую после 1850 г., империалистическая идеология обычно имела характер заклинательного трюка. О том, до какой степени она была заклинательным трюком, говорит то равнодушие, с которым низшие классы метрополий лишь пожимали плечами по поводу «утраты» колоний, причем даже в таких случаях, как Алжир, когда колония была законодательно включена в состав метрополии. В конце концов, всегда именно правящие классы — разумеется, буржуазные,

но прежде всего аристократические — долго оплакивают империи, но их горе неизменно носит черты театрального притворства.

Версия #1

Зверобой создал 12 апреля 2025 23:21:50

Зверобой обновил 12 апреля 2025 23:26:23